

Юрий Васильевич Красавин

ПРИВЕТ, СТАРИК!

повесть

Я открыл дверь и оторопел... я онемел: передо мной стоял Комраков... умерший уже несколько месяцев назад.

- Привет! – сказал мой гость бесцветным голосом и почему-то нахмурился: наверно, ему не понравилось выражение моего лица.

Я немо отступил в прихожую, и он вошел. Сразу стало тесно – прихожая у меня не для таких крупных фигур, как мой друг Комраков: в нем, ведь, никак не меньше ста килограммов – корпусный мужик!

- Привет, - запоздало отозвался я.

Помятая кожаная кепка его была сдвинута на лоб, так что узкий козырёк нависал над квадратным комраковским лицом. Он снял её, поискал глазами, куда повесить, спросил:

- Где тут у тебя?

В сумрачной прихожей вешалку не сразу разглядишь. Я принял от него кепку, положил наверх.

- Разденусь, если ты не возражаешь, - сказал он ворчливо.

Живой... А о нём некролог был, и не где-нибудь – в центральной газете, в “Известиях”: портрет, сделанный в лучшую пору его жизни, над портретом крупным шрифтом: “Памяти Геннадия Комракова”, под ним скорбный текст.

Вошедший ко мне живой Комраков был небрит, имел нехороший, темный цвет лица и дышал затруднённо – хрипы в бронхах: значит, опять нездоров. В последние годы я уже привык к тому, что он почти всегда болен. Если, конечно, уместно в данном случае говорить о привычке.

Именно таким я видел его в последний раз. В тот день я пришёл повидаться с ним, что делал всегда, приезжая в Москву. Он выбрел ко мне в прихожую – именно выбрел, а не вышел – ступая мелкими шажками, крепко стуча палкой... Явление его передо мною изумило меня тогда до крайности.

- Комраков! – возмутился я. – Ты с клюшкой! Постыдись.

И прикусил язык: вид моего друга был ужасен.

- Проходи, - выговорил он обессиленным и хриплым голосом и стал поворачиваться, чтоб идти назад. Повернулся в несколько мелких шажков, переставляя словно бы деревянные ноги, и побрел, а палочка в пол стук, стук. Как по крышке гроба. Он не опирался на нее, а держал наготове, опасаясь, что вот-вот может упасть, и всякий раз крепко стучал ею в пол.

Нынче же он выглядел чуть бодрее, и был уже без этой подпорки, но все равно больной человек, сразу видно.

- Разве там дождь? – спросил я, вешая его куртку; сверху она была мокрой.

- Вроде бы... или снег.

На дворе поздняя осень, вполне может быть и то, и другое.

- Ты один? – спросил он.

- Да.

- А где Катя?

- Ушла в магазин.

Голос мой прозвучал оробело, словно я осознал свою обреченность: я один, и ко мне пришел такой гость.

- Тапочки дашь?

Спрашивал он как-то механически, не выражая ни радости от нашей встречи, ни досады, ни скуки – ничего.

Я терпеть не могу комнатных тапочек, особенно шлепанцев, хожу обычно в вязаных носках – это если зимой. Когда носки прохудятся на подошвах, сам их штопаю, сидя перед телевизором и слушая новости об очередных забастовках, о межнациональных конфликтах, о коррумпированности верхних и нижних эшелонов власти и прочее. Прочего тоже много, всего и не переслушаешь: катастрофы, уголовщина, эпидемии... Такое наступило время.

Тапочки должны были быть в угловом шкафу, где свален всякий необходимый в хозяйстве хлам: обрезки линолеума, моток льняной бечевки, початые банки с водоэмульсионной краской (время от времени подбеливаю стены в кухне и ванной), малярные кисти и прочий инструмент. Искал я торопливо, то и дело оглядываясь: да, это Гена Комраков пришел ко мне. Именно он, нет никаких сомнений. Но он умер три месяца назад!.. и некролог о нем был...

- Слушай, а кто это тебя так приложил в “Известиях”? – сказал я возмущенно. – Как это понимать? Ради хохмы, что ли? Или случился грандиозный газетный ляп?

- А-а, - безразлично произнес он и произнес еще что-то, похожее на слово “напутали”; я не расслышал.

“Центральная газета, ведь! – недоумевал я. – Что за шутки! За такое в порядочном обществе бьют пивными кружками по головам”.

Я дал моему другу шлепанцы, он с усилием стал снимать сапоги, упираясь руками в стену и наступая одной ногой на пятку другой.

- Как ты живешь! – ворчал он при этом. – Даже скамейки в твоей прихожей нет.

- По средствам нашим, - неопределенно сказал я, - и по нуждам.

Ему трудно было нагибаться, словно вместо позвоночника вставлен в его спину металлический стержень, причем не прямой, а изогнутый коромыслом. И в пору нашей литинститутской молодости – это значит, четверть века назад – Комраков был заметно согнут, а голова так плотно посажена на плечи, что оглянуться он мог, лишь повернувшись всем корпусом, как статуя.

Еще тогда я услышал от него пахнущее лекарством слово *спондилёз*, а прозвучало оно так, словно это

награда за трудовые подвиги, вроде ордена.

- Да было дело... на Севере. Пришел караван судов, баржа села на мель недалеко от порта – я тогда с геодезической партией работал. Стали набирать добровольцев: кто полезет в воду – ящики с баржи на берег носить. А уж октябрь, вода ледяная. Вызвался я да еще один... вроде меня. Пообещали нам, дуракам, бачок спирта, вот мы и старались... Хребет застудил. Ну, ничего! Зато все остальное в норме!

Я принес в прихожую стул. Гость мой сел и разулся, надел тапочки.

Голова его уже не похожа была на голову Гены Комракова в пору нашего Литинститута: тогда он имел буйную кудрявую шевелюру, мог не причесываться по неделе – все равно красив; теперь поседел и не кудряв уже, а просто встрепан; пегие пряди торчат в разные стороны – нет, не ухарь-мужик с Алтая, а просто больной старик.

- Проходи сюда, - пригласил я, распахивая дверь из прихожей в комнату.

Гость прошел и сел на диван – грузно сел, как повалился.

При нашей последней встрече, забредя в свой кабинет, Комраков в несколько шажков развернулся задом к креслу, стал медленно сгибаться, потом плюхнулся в него всей тяжестью, обессиленно откинул голову. Мне показалось тогда, что от этого действия – просто сел в кресло! – он на секунду-две потерял сознание.

Там, в Москве, ведя с ним последний разговор, я не мог совладать с нарастающим ужасом: я осознал вдруг, что смерть стоит рядом с ним, она пасет его. Будто тень ее крыла осеняла нас обоих, и меня тоже, отсюда и ужас, шевеливший мои волосы. Тогда я смотрел и не узнавал своего друга.

“В этом человеке уже нет Гены Комракова, - билась растерянная мысль. – Он уже ушел от нас”.

Осталась лишь телесная оболочка, материальная форма его; а то, что было собственно Комраковым, уже улетело.

- Как ты оказался в моем городишке? – спросил я. - Извини, не ждал...

Непринужденный тон давался мне с трудом. Словно бы расслоение сознания наступило у меня от этой очевидной нелепости: вот живой человек, а вон на письменном столе тетрадь моего дневника, в ней вырезка из газеты...

- Да ты хоть видел свой некролог? – спросил я, досадуя: кто это над ним так зло подшутил?

Ведь написали о живом: “Не стало Геннадия Комракова. Тяжкая болезнь унесла на 59-ом году жизни талантливого человека, долгие годы связывавшего свою журналистскую судьбу с “Известиями”...” и так далее. И портрет его – ТОТ еще портрет, из ТОЙ поры, столь мне дорогой – в колоночке газетной.

- Да... написали вот... в скорбном жанре... свои подсустились, - говорил он, оглядывая скромное убранство моей квартиры, - книги на полках, фотографии на стене. – Мне-то все равно, а им не объяснишь, особенно из гроба. Звонили, бегали... У шефа решали, в каком виде тиснуть на газетной полосе и надо ли: невелика, мол, шишка. Да мне-то... но мои хотели, чтоб все было путём.

- Ничего не понимаю, - пробормотал я.

- Ладно, старик, - немножко оживился Гена. – Ты не напрягайся. Посидим, поговорим, как в старые добрые времена, по-литинститутски, а? Я почему-то с тобой вот захотел потолковать. И Олег Пушкин, и Генка Васильев – те другие, без комплексов, с ними все ясно. А ты комплексуешь на почве сексуальной неудовлетворенности.

Вот теперь он стал похож еще больше на прежнего Гену. Тот не упускал случая для подобных шуток.

- Ты в командировке, что ли? – спросил я.

- Нет... Просто повидать тебя захотелось, - сказал он с неожиданной теплотой в голосе. – Посидеть, потолковать – как на творческом семинаре.

Меня это тронуло.

- Чем тебя угостить? Водка есть... - я открыл дверцу в буфете, глухую, без стекла, - так называемый бар. Ну, громко сказано – “бар” – но бутылка водки там стояла. И рюмки. И даже почему-то апельсин.

- Мне нельзя, - сказал он и закашлялся.

- Плохо себя чувствуешь?

- Как тебе сказать...

- Тогда я заварю чай.

- А кофе нет?

- Кофе я не пью, старик, ты знаешь. Но могу сходить к соседям, авось у них найдется.

Я уже отвык от этого прежнего обращения между нами – “старик”; выговаривал неуверенно, подлаживаясь под прежний тон, и боюсь, что получалось фальшиво.

- Не надо, - сказал он, - чего людей зря беспокоить! Давай чаю.

По пути на кухню я заглянул в зеркало: вид у меня был... бледное лицо, сумасшедшие глаза – беспокойство и страх проглядывали в них. Не от сознания страх – подсознательный, глубинный.

В кухне я зажег газовую горелку, поставил чайник на огонь и вздрогнул от чересчур громкого стука чайника о плиту. “Бережно чайником гряну” – вспомнилось. Чья это строка? Гены Васильева? Нет, Паши Маракулина, вятского стихотворца. Какая все-таки смешная фамилия – Маракулин! Я бывало подначивал его: “Как можно с такой фамилией идти в литературу, старик! Придумай псевдоним. Вон Олегу “посчастливилось” – Пушкин! Он заменил псевдонимом: Ждан. Олег Ждан. Просто и со вкусом. А ты будь хотя бы Акулин. Или Акулинин”.

А стихи у Павла хорошие:

“В миску насыплю зерна, Бережно чайником гряну,/ Черного хлеба достану,/ Красного выпью вина...”

Тут слово “гряну” стоит на своем месте.

Я остановился, медля вернуться в комнату. Не по себе мне было. Не позвонить ли в дверь к соседям, чтобы перекинуться словом? Увижу их и успокоюсь: не сошел с ума. Хорошо б они глянули на моего гостя... Впрочем, не надо.

За окном поздняя осень. На Волге волны с белыми барашками – тревожна Волга. Ветры оборвали уже с деревьев последние листья. По утрам лужи затягивает ледком. Как там у Паши Маракулина...

“Холодно в доме моем,/ Каркает ворон снаружи./ Пережидать эту стужу/ Лучше, конечно, вдвоем...”

Лучше вдвоем... вдвоем...

Вернувшись, я увидел, что мой гость стоит перед книжными полками спиной ко мне и внимательно что-то разглядывает. Я не удивился бы, если б этот плечистый грузный мужик, обернувшись, оказался не Комраковым, а просто случайным посетителем. У меня с ума не сходило: некролог. Не где-нибудь – в “Известиях”. Нечего и думать, чтоб центральная газета позволила себе такую ошибку. Но человек-то жив! Или не жив?

Я опасливо встал рядом, глянул сбоку: все-таки это Комраков. Он приехал ко мне в гости – два с половиной часа на электричке от Москвы! – а я пугаюсь, как последний неврастеник. Это неблагородно, это не по-товарищески.

Он всегда был старшим в нашей дружбе, ведущим, и если нужно было нам встретиться, я шел к нему, а не он ко мне. А теперь, вишь, приехал: “Повидать тебя захотелось... посидим, поговорим...”

- У меня тоже это издание, - сказал он, снимая с полки Монтеня, - первые два тома в одной книге. Так и не успел прочитать. А ты?

- Читал.

- Все было недосуг... всегда торопился куда-то, суета всякая. Все казалось: успею, времени впереди много... Ну и что ты там вычитал?

- Мудрые мысли.

- Ну-ка, хоть одну процитируй, как запомнил.

- У меня плохая память, Комраков.

- Так я и знал: и ты не читал!

- Да читал, читал! Уверяю тебя, это произвело во мне необходимую работу.

- Ладно, старик... не смущайся.

Он поворачивал книгу так и этак, словно кирпич, и неожиданно предложил:

- Погадаем на меня, а? Что выпадет. Назови страницу и строку.

- Сотая, десятая сверху.

Он старательно отлистал в толстом фолианте, прочел:

- *“Философ или вообще человек с чуткой совестью и тонким умом”*.

- Это ты философ? – спросил я.

- Так написано в этой книге. Ты же сам назвал страницу и строку. Все было честно.

Я позавидовал ему: хорошо выпало. Как выигрыш в лотерее! Человек с чуткой совестью и тонким умом... ишь ты!

- Теперь на тебя давай, - сказал он великодушно: авось, мол, не только ему, но и на мою долю достанется что-нибудь утешительное.

- То же самое, но по Библии, - ревниво сказал я. – Сотая страница, десятая строка сверху в левой колоночке.

Должен признаться, что у меня тут был расчет: я все еще не верил, что это он, живой. И если что-то не так, то Библия его смутит.

Но мой гость спокойно снял ее с полки, сосредоточенно отлистал и прочел с тем же выражением:

- “... и по ошибке согрешишь против посвященного Господу”. Вот так, старик.

Я отобрал у него Библию, проверил, не сочинил ли он на ходу. Все было верно.

- И что это означает, по-твоему? – спросил я, признаться, озадаченный такой многозначительной строкой.

- Мотай на ус, двигай мозгами, соображай. Ты у нас самый сообразительный.

Волнение владело мною!

И как это я промахнулся! Надо было мне гадать по Монтеню, а для Комракова – по Библии. И это я был бы философ с тонким умом, а он согрешающим против посвященного Господу! Всегда ему везло, просто так, ни за что, ни про что.

А Комраков удовлетворенно отошел к дивану и сел уже не прежним замедленным движением больного человека, а довольно бодро, словно поздоровев. Он стал живее! Но я видел явственно, как бы на своей лобной кости с внутренней стороны четкие буквы газетного текста “*Наш друг Геннадий Комраков ушел из “Известий” по инвалидности семь лет назад, оставаясь автором газеты. Все эти годы тяжелая болезнь терзала его. Но надо знать его характер, его веселый нрав...*”. Это был некролог. Его не вырубишь топором.

- Слушай, старик, а почему ты не был на похоронах? – вдруг услышал я.

- На чьих?

- На моих.

Я смотрел на него. Он смотрел на меня. Причем так, словно он в свое время приглашал меня, и я обещал непременно быть, но обманул, не явился отдать последний долг.

- Я понимаю, - голос Комракова звучал неприятно, обличающе, - обряд этот не в удовольствие никому, но не одними только соображениями приятности следует руководствоваться. Насколько я знаю, именно так ты пишешь в своих романах.

“Вот зачем он пришел! – подумал я. – Взыскать по счету”.

- Гена, газета с некрологом попала мне на глаза две недели спустя после... - начал я оправдываться и запнулся, чуть не сказав “после твоей смерти”, но вовремя спохватился и нашел другие слова, - после ее выхода в свет. Я решил, извини, что тебя уже похоронили.

- Меня похоронили, - эхом отозвался он. – Но в тот день ты должен был постоять у моего гроба. По долгу нашей дружбы, старик. А ты этого не сделал.

- Откуда же, сам посуди, я мог узнать о твоей смерти? Ты мне ничего не сообщил, даже тогда, когда виделись в последний раз. Небось, предупредил бы: так, мол, и так, намерен помереть такого-то числа, изволь прибыть, похороны на Новодевичьем или Ваганьковском...

Юмор висельника. Но меня извиняли чрезвычайные обстоятельства и глубокое душевное волнение.

- Как это не знал! – сказал Комраков, не глядя на меня. – Должен был знать, и все тут. А ты уклонился,

старик. Я не ожидал от тебя. Олег – в Минске, Генка Васильев – в Оленегорске, а ты ближе всех, в двух часах езды на электричке.

Это был непереносимый упрек. Настолько непереносимый, что я спросил:

- А почему твоя Нина не известила меня телеграммой? Неужели это было так трудно? И сыновья твои тоже хороши: не могли уж...

- Разве они не телеграфировали? – спросил он после паузы и нахмурился.

- Нет.

Мы помолчали. Но разговор был начал и логика его развития требовала продолжения в новом русле.

- Я понимаю, у тебя много друзей помимо меня, Олега и Генки Васильева, - повел я атаку. – Но мы все-таки составляли наше литинститутское братство, а другого у тебя не было. Ты вспомни, что говорил Тарас Бульба: *“Нет уз святее товарищества! Мать любит своё дитя, жена любит своего мужа... Но это не то, братцы! Любит и зверь своё дитя. Но породниться по душе, а не по крови, может один только человек”*. Или ты жену свою воспитал как-то иначе, и она такого родства не признаёт?

Он молчал.

- Жены часто ревнивы к друзьям своих мужей, - продолжал я, уже не ради защиты высказывая свою обиду. – В твоей всегда чувствовалась досада, когда мы появлялись. В любом другом случае я её оправдал бы, но тут... подозреваю, что взяли верх неблагородные соображения: твоя семья известила лишь тех, кто ей казался поважнее.

- Ты погоди, - остановил он меня. – Не говори, чего не знаешь. Может, телеграф не сработал...

Это сомнение возникало у меня ранее, и я в свое время сходил на почту: нет, телеграмм для меня не приходило.

Еще раз вернусь к тому июльскому дню, когда по сути дела попрощался с Комраковым. Направляясь к нему, я шел Тверским бульваром и остановился у Литературного института. Обычно я проходил мимо, лишь бегло скользнув взглядом по фасаду столь знакомого дворянского особняка. А тут подошёл, взялся за железные прутья ограды: предчувствие томило меня.

Никого не было на крыльце, а в скверике тоже пусто. Но явственно увидел я нас, толпящихся там: и себя, и Комракова, и Олега Пушкина, и Володю Кавторина, и Павла Маракулина... Тени наши бродили там! Голоса наши отчётливо звучали! И между мною и ими было непреодолимое пространство времени. Мне уже не преодолеть ту ограду и скверик, не соединиться с теми, что стояли там, у крыльца.

И я отступил со смущенной душой, с сильно бьющимся сердцем, поражённый внезапным открытием: оказывается, жизнь уже прожита, настало время заката, время прощаний.

Это было сокрушительное осознание происшедшего.

Вот с таким настроением я и пришел к Комракову тогда, и увидел его беспомощным, на себя не похожим, как не похожа пустая коробочка улитки на живую улитку; я услышал стук его палки в пол... как по крышке гроба.

Сейчас же мы сидели и разрешали возникший между нами конфликт: я должен был прибыть на похороны моего друга и не сделал этого – почему? чья тут вина?

- Ты всегда стремился подружиться с влиятельными и нужными тебе людьми, - укорил я. – У тебя, бывало, с языка то и дело: мне тот-то сказал... я с тем-то об этом говорил. Мол, ты с ними на дружеской

ноге. И Нина твоя ценила только такую мужнину дружбу. Однако, несмотря ни на что, она должна была помнить о своём долге перед нами – передо мной, Олегом и Генкой. Она должна была пригласить нас на твои похороны!

Мы смотрели в разные стороны: я – в окно, мой гость – на моих предков: по деревенскому обычаю я люблю вывешивать семейные фотографии на стену.

- Наверно, закрутилась, - сказал он примирительно. – Хлопоты, сам знаешь... Надо гроб, то да сё.

- Извини, старик, - возразил я безжалостно, - смерть твоя не была для неё неожиданной. Во всяком случае я тогда ушёл, сознавая, что жить тебе осталось недолго. Я даже Олегу написал: если, мол, хочешь попрощаться с Генкой, тебе надо поспешить.

- Олег был у меня, - отозвался Комраков. – Он приезжал по своим делам, зашёл ко мне. Но про твоё письмо ничего не говорил.

- А я его и не послал. Показал своей жене, та прочла и отругала меня: “Нельзя так о живом человеке!”. Я подумал: может, и впрямь ты ещё оклемаешься, выкарабкаешься.

Мы помолчали.

- А я ждал тебя, старик! – сказал Комраков. – Ждал... и ты должен был приехать.

- Да не знал я, Гена! Говорю тебе, что и некролог-то увидел, две недели спустя... после твоей смерти. Да и его, по-моему, дали с опозданием: там нет даты, когда ты умер.

Только теперь я поймал себя на мысли о том, какую дичь несу. О чьей смерти речь, если Комраков сидит передо мной живой!?

- Ты не дрейфь, старик, - сказал он, заметив мою растерянность. – Я, действительно, умер... и меня похоронили. Контора моя не ошиблась, хотя и сочинила хреновый некролог. Да ведь хороший-то как написать! И я не сумел бы. Даже на самого себя.

Я опять, как и тогда, в его квартире, ощутил некое дуновение, пошевелившее мне волосы и знобким холодком опавшее мою спину.

Я говорил с мертвым моим другом!

- Но ты не думай об этом, старик, - сказал Комраков, поняв моё состояние. – Что нам скорбные дела! Я вообще-то не за тем пришел к тебе, чтоб говорить о похоронах. Давай о жизни.

Лицо его было переменчиво: тени проходили по нему... свет боролся с тьмой.

- Кстати я не смог вспомнить: как мы с тобой познакомились, старик? – спросил Комраков весёлым тоном. – Так сказать, начальную дату, отправную точку. В общежитии или в институте? На вступительных экзаменах я тебя... не помню.

- Я фамилию твою впервые отметил на первом курсе, зимой: Алексей Кузьмич Югов – он был тогда нашим творческим наставником – прислал мне для рецензии твой рассказ “Пункт “Васька””.

- А-а...Неплохой рассказ.

- А я его раздраконил.

- Зря. Для первокурсника совсем неплохо. Его потом напечатали в “Литературной газете” – это было в

шестьдесят четвертом году.

- Югов за тебя заступился: мол, напрасно вы так о своём товарище. После чего и рекомендовал твой рассказ в “Литгазету”. Следовательно, прочитав мою критику, он из чувства протеста двинул его туда. А если б я не раздраконил... Соображай, кто вывел тебя в люди. Ты у нас самый сообразительный.

- А что ты там накалякал в своей рецензии?

- Да ты в этом рассказе выпендривался, например, так: “*Мы сидим и ждем вечернее зарево*”. Почему не зарю, а зарево? О пожаре, что ли, речь? Но тебе хотелось закрутить лихо: заря, мол, слишком просто, дай напишу “зарево”. Я ужасно возмущался этим!

- Ты позавидовал, старик: я тогда хороший писатель был! Это потом испортился. А “Пункт “Васька”” – почти классика. Он у меня в первый сборник вошел и потом не раз переиздавался.

- Там такие красоты были; “*лето пело прощальную песню*”... “*дымчатые тучи оплакивали уходящее лето*”... “*кровь скатывалась с бревна и растекалась по влажному мху*”.

- А что? Хорошо.

- По мху “растекалась” – это хорошо? Не серди меня, Комраков, не серди. В гневе я бываю страшен. Там у тебя ещё было: “*хороший человечиче, похожий на гориллу*”, “*скрежетающим голосом*” и прочее. Ну, для меня подобные клюковки – как красная тряпка для быка.

Тут Комраков впервые улыбнулся:

- Ишь, тридцать лет прошло, а ты цитируешь наизусть. Значит, хороший рассказ.

Лицо его просветлело, стало воодушевленным.

- Я в писатели подался случайно... как-то так, сдуру. И в голову раньше не приходило! Жил в Рубцовске, заинтересовался цинкографией – я ведь разными ремеслами овладевал, старик! То кроликов разводил, то еще что... А тут для районной газеты клише стал делать – подрабатывать. И вот пришел однажды в редакцию, а там литкружок заседает... поэты да прозаики местные. Послушал я ихние стишки да рассказы – ну, думаю, так-то и я могу! Написал рассказ – редактор пришел в восторг. Напечатался в областной газете... потом еще раз... там уж меня местные литераторы на заметку взяли, пригласили на семинар начинающих... Вот так, старик, совершалось моё восхождение на Парнас. Это ты родился писателем, а я-то случайно оказался в вашей компании.

- Ишь, случайно... - проворчал я. – Мы-то пешечком на эту горку, своими ножками, смахивая трудовой пот со лба, а тебя возносило ни за что, ни про что, попутным ветром. Тебе пруха и везуха была, вон как давеча с Монтенем. Потому и не дорожил ты тем, что так легко досталось.

А Комраков от моего ворчания сидел довольный такой! Словно я его хвалил. Да ведь это и было ему похвалой.

- Ты и раньше насчет “случайности” выступал, а меня это возмущало.

- Как же, помню: ты у нас по части высшего писательского предназначения всё распинался... младенческие пузыри пускал. А разобраться – ты просто завидовал мне, старик, - повторил он. – Потому и критику наводил на мой рассказ. Признайся, и тебе станет легче.

- О чём ты говоришь! – возмутился я и теперь, как возмущался тридцать лет назад. – Я сам к тому времени напечатался в “Литературной России”! И в журналах тоже – в “Волге”, “Сельской молодёжи”. У меня рассказы уже готовились к печати в журнале “Знамя”.

- Всё равно я вас всех тогда опережал, - подначивал меня Комраков.

Я сдался:

- С этим я согласен, старик: ты как-то сразу вырвался вперёд. И мы это ценили! Равно как и сейчас я это ценю. Вот тебе доказательство моего беспримерно дружеского к тебе отношения: я все твои письма ко мне сохранил.

- Зачем?! – озадачился он и удивился.

- Я был убеждён, что из тебя получится крупный литературный небожитель, - признался я, - и письма твои следует хранить, как национальное достояние.

- Я не оправдал твоих надежд... Так-так... Ну-ка, почитай что-нибудь, раз уж сохранил.

Я выдвинул ящик стола, достал папку.

- Старик, я всегда знал, что ты порядочный человек, - сказал он, пока я рылся в этой папке, - но на то, что ты не станешь выбрасывать эпистолы талантливого писателя Геннадия Комракова, я никак не рассчитывал.

- Ты всегда меня недооценивал.

- Извини, старик, больше такого не повторится.

- Вот, по-моему, самое первое твое послание ко мне: *“Привет славному граду Конаково и его соловьиной весне! Матери родной не пишу десять лет писем, а тебе вот пишу. Цени. Вспомнил твою интеллигентную физиономию и решил, что ты именно тот человек, который мне в данную минуту нужен. Ты ведь не чураться интеллектуального труда?..”*

- Это значит, насчет контрольных, - заметил Комраков. – Давай дальше, что там?

- *“Горю вечным огнем неизвестного солдата. До сих пор не послал в институт ни строчки. Долго болел, думал: поправлюсь – займусь. Но заняться пришлось другим делом. У меня была запланирована книжка рассказов на четыре листа, но появилась возможность протолкнуть шесть листов. Теперь лихорадочно копаюсь в своих архивах, переделываю всякое старье, тяну на шесть листов... Словом, до мая мне учёбой заниматься недосуг. И жалко, если я отстану от вас. Помогай, Юра! Есть ли у тебя контрольные работы? Я могу торжественно обещать: перелицую так, что и сам не узнаешь. Это все-таки быстрее, чем написать заново”.*

- Да, - Комраков опять улыбнулся. – Помню... Ты мне прислал...

- Гена, я обеспечил тебе не только первую публикацию в центральной прессе, но и высшее образование! Цени. Вот еще письмецо:

- *“Перелет совершил в калошах и с костылями. Кто меня мог видеть в тот момент, – рыдали. Так вообрази и ты эту жалостливую картину и расстрогайся, и вышли мне от щедрот своих что-нибудь с барского стола умственной деятельности. Мне бы огрызочки контрольных работ, объедочки курсовых... Потому как после удара у меня в голове шум”.*

- А-а, это меня в Киргизию собкором от “Известий” послали, а я ногу сломал, - он вздохнул. – Хорошее было время!

- Тебе везло на аварии, - проворчал я. – Куда ни поедешь, обязательно у тебя что-нибудь или сломают, или помнут.

- А я везучий был на эти дела, старик! Везучий, да. Другой на моем месте загнулся бы к тридцати – тридцати пяти, а я, как видишь, дожил до пятидесяти девяти.

Он улыбался, говоря это. Словно аварии и несчастья приятно ему вспомнить.

Комраковская улыбка была особенна тем, что в ней определяющим было дружелюбие. Не ирония, не лукавство, не простодушие, и тем более не застенчивость или смущение – эти свойства, по-моему, были чужды Комракову. Расскажет что-нибудь и смотрит, улыбаясь, как другие хохочут: салаги, мол, вы! Ничего в жизни не видели, не знаете. Невозможно представить его сидящим в одиночестве, тем более с грустным видом. Грусть не была свойственна ему. Он мог огорчиться, мог досадовать, сердиться, но не грустить. Ему было присуще здравомыслие, а при таком и грусть, и тоска неуместны.

Практический склад ума я, впрочем, поставил бы ему в упрек, а не в заслугу, потому что это не писательское качество. Но он сам говорил, что не родился писателем, так что какие могут быть тут упреки!

Комраков был человеком дружеской компании. Вокруг него всегда кучковались, всегда окружали его люди, в которых он отражался, как в зеркале: веселый, остроумный, добродушный. Вот шел озабоченный человек, присоединился к кружку, в котором Комраков, и сразу, глядишь, уши наострил, Комракову в рот смотрит, и уже улыбается.

В некрологе: *“он был душой всех компаний”* и *“возле него всегда светились лица друзей и знакомцев, сразу проникавших к нему дружелюбием”*. Что верно, то верно.

Мои воспоминания о нем по большей части забавны. Его поступки всегда имели юмористический оттенок, как бы серьезны ни были. Вспоминается, как однажды, проснувшись рано-рано утром, - лучезарным, кстати сказать, июньским утром! - я увидел Комракова стоящим на подоконнике, оперев в него руки и колени; он укорял дворника, который мел внизу улицу:

- Повести надо писать, а не метлой махать! Изящная словесность – вот достойное занятие для настоящего мужчины! А ты что? И с похмела, ведь, признайся.

Он еще и не ложился спать, только что приехал откуда-то и время там провел весело. Я сквозь сон слышал, как он тормозил сначала Генку Васильева, потом Олега Пушкина:

- Старик, ты что спишь? Вставай. Утро-то какое, а ты дрыхнешь. Спишь – не живешь. Да что вы, старички, жить, что ли, не хотите?..

Не добудившись, он вылез в одних трусах на подоконник дворника укорять... Значит, навеселе. Пьяным до безобразия он не бывал никогда, хотя выпить мог много, - пьянея, Комраков добрел, становился неукротимо деятелен, неостановимо предприимчив и готов был не спать до утра и далее. Да, уж он был компанейским человеком, а это не иначе, как дар божий.

В ту пору совершенно убежденный, что мои собственные литературные способности безграничны, я чувствовал в нем достойного соперника и относился очень ревниво ко всему, что он писал.

На четвертом курсе меня, как громом, поразило известие, что Комраков сочинил повесть! Мало того: она принята журналом “Новый мир”. То есть будет там напечатана рядом с произведениями маститых авторов! Я был слегка контужен, ей-богу, - именно такое воздействие оказал на меня успех моего друга.

Комраков написал о том, как в районном городке мелкий чиновник, вроде инструктора или инспектора, послан волею секретаря райкома партии добыть у колхозников две тонны картошки для рабочей столовой. “Ежели мы рабочих оставим без картошки, они наши лекции о строительстве коммунизма на данном этапе слушать не будут”, - так заявил этот секретарь.

Фамилия чиновника была Опёнкин, и сразу же возмутила меня своей придуманностью. Фамилия

говорила о том, что автор будет подтрунивать над своим героем и ставить его в смешные положения. “Нет ничего проще описывать дураков! – ревниво рассуждал я, читая повесть. – Кто б написал об умном герое!”

Но ведь и дурака не так-то просто изобразить. Поди-ка, сочини для него физиономию, язык, поступки. А комраковский герой был забавен и трогателен, самоотвержен и беспомощен, склонен к трусости и геройству, благодаря чему события в повести разворачивались довольно живо: Опёнкин все время перемещался в пространстве авторского вымысла, встречался с разными людьми и совершал поступки, диктуемые логикой событий, но не логикой его характера. Он едва не угодил под повалившуюся на бок автомашину, чуть не погиб в пешем путешествии, оказался в бане вместе с деревенской девкой Клашкой, потом в её постели; уморительна была сцена, где двое братанов сначала угощают его медовухой, спрашивая “Ты меня уважаешь?”, а потом выгоняют вон: “Братка, выведи эту гниду!”, и так далее.

Всё было в повести: и живые характеры, и драматические события, и проблема на уровне центральной газеты, и дерзость некоторых суждений, подкупившая, по-видимому, редакцию либерального журнала.

Я смотрел на своего друга во все глаза: вот он, Комраков, такой же, как мы, из одного со мной творческого семинара, стал автором повести! И ее будет читать вся страна – где? – в “Новом мире”. Каждая фраза, рожденная воображением Комракова, написанная его рукой, дойдет до сознания тысяч... нет, сотен тысяч людей. Фантастика!

- Твардовский приглашал в свой кабинет, - рассказывал Гена, как о чем-то обычном, - чаем меня угощал. Секретарша принесла нам обоим (как это замечательно-небрежно – “нам обоим”!), сидели, пили, он говорил: “Я был против публикации вашей повести, но редакция высказалась “за”. Пришлось уступить”. Между прочим, он название предложил новое – “За картошкой”. Мне-то не очень нравится, но ведь... Твардовский!

Комраков в моих глазах стремительно взошел на ту высоту, где обитают уже небожители; во всяком случае он каким-то образом стал причастен к ним; на нем уже заметно стало отражение неземного света – по-видимому, это и был свет славы.

Я тоже решил написать повесть и сделал это за полтора месяца – в дело пошли три-четыре рассказа, которые я завязал в единый сюжет, построил мосты между ними, ввел новых героев, дописал недостающие сцены. То, что получилось, я назвал повестью и дал ей такое название: “Вот моя деревня...” После чего разослал по разным журналам – в Москву, Ленинград, Саратов – будучи уверенным совершенно, что ее не примут нигде: с чего это солидные журналы будут печатать начинающего автора! Сначала ему надо пострадать, помытариться, а потом уж... Но случилось чудо: из всех этих городов, из четырех журналов, мне пришли благожелательные ответы: мол, творение ваше заинтересовало нас, и мы готовы его напечатать. Я ошалел, не смея тому верить.

Первым откликнулся главный редактор журнала “Невы” – Александр Федорович Попов: он позвонил мне поздно вечером из Ленинграда (я жил тогда в Осташкове, на втором этаже деревянного дома с печным отоплением):

- Я только что закончил читать вашу повесть. Вы не возражаете, если мы ее опубликуем?

О чем он спрашивает? Разумеется, нет!

- Как у вас с деньгами? Мы можем заключить договор и выслать аванс...

Мне вскоре прислали аванс – я купил на него телевизор. А на весь остальной гонорар потом купил холодильник, диван и что-то еще... Благословенные времена! Теперь для того, чтоб купить телевизор, мне надо написать и опубликовать в толстых журналах десяток таких повестей, как “Вот моя деревня...”. Но это я так, к слову.

В ту ночь, после столь счастливого для меня разговора с главным редактором “Невы”, мне впервые приснился цветной сон. Помню бушующее море – валы изумрудно-зеленых волн хлестали в стены моего бревенчатого дома, ставшего кораблем; а мне было отнюдь не страшно, а напротив, радостно среди этой стихии; я видел яркое голубое небо над крышей и пестрых, как попугаи, рыб, выскакивающих из воды, и сверкающие разноцветные пузырьки в толще воды.

Не знаю, что снилось Комракову и снилось ли что-нибудь на взлете его литературной судьбы, а мое торжество было полным. Ведь если до сих пор я мог сомневаться, что из меня получится писатель, то после звонка из журнала “Нева” (подумать только – сам главный редактор позвонил!) всякие сомнения отпали. Раньше одни надежды да мечты, теперь налицо их реальное воплощение.

Вот что такое соперничество с Комраковым! Не будь его – нескоро написал бы я повесть про свою умирающую деревню и нескоро увидел бы изумрудно-зеленое море с пестрыми крылатыми рыбами.

В другие журналы пришлось потом посылать вежливые отказы, что я и сделал в манере избалованной вниманием литературной знаменитости.

Из Москвы /”Знамя”/ мне ответили без обиды, что-де если Ленинград /”Нева”/ по каким-нибудь причинам все-таки откажется от публикации, переменит свое решение, то московский журнал готов будет опубликовать мою “Деревню”. Саратовская же “Волга” обиделась немного, неловкость с нею вышла, но я обещал прислать им новую рукопись, в чем потом и преуспел.

Все же несмотря на мои явные литературные успехи, в Литинституте тогда только и шороху было: Комраков, Комраков... Его анекдоты, его шутки; а его нарочито скупые рассказы о высоких литературных сферах, к которым он стал вдруг причастен, были откровениями. Он сразу и безоговорочно занял среди нас, прозаиков, лидирующее место.

А среди стихотворцев нашего курса возшла звезда Коли Рубцова.

*Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...*

- Он ведь у нас есть на той общей фотографии, Рубцов Коля, да? – спросил Комраков.

Я достал ее из альбома: возле крылечка Литературного института весь наш курс, выпускной, - это, значит, лето шестьдесят девятого года.

Мы вместе разглядывали снимок, сидя на диване.

- Олег Пушкин с Генкой Васильевым... - приговаривал Комраков, - Шмаков Петька...Юра Маслов...

Так называли по именам всех, кого вспомнили.

- А что-то мало из нашего курса классиков-то вышло! – сказал Комраков. - Кроме тебя, старик, и нет никого, а?

- Коле Рубцову уже памятник поставили, - напомнил я.

Опять он разглядывал снимок:

- Рубцов, вот он стоит... трезвый, по-моему... А это кто? Не узнаю, не помню... А это я.

Комраков на том снимке стоит, улыбаясь, я у него за спиной, Олег рядом. Мы вместе, и это, наверно, в

последний раз.

- Саша Тихомиров погиб, - подсказал я, - под поезд попал.

- Я его не знал.

- Да знал! У него такие по-детски доверчивые стихи были, очень трогательные: *“Ах, коровушка-корова! Будь, пожалуйста, здорова...”*

- Нет, не помню. А Кавторин сейчас где?

- В Петербурге живет. Был заместителем главного редактора журнала “Звезда”. Я ему уже тогда подсказывал: для художника, Володя, ты слишком умен, иди в критики. Художник должен быть маленько глуповат, даже если это Лев Толстой.

Комраков в задумчивости отложил фотографию:

- Вот были мы... и был у нас Литературный институт... знаешь, как будто это сейчас есть!

- Гена, у одного хорошего писателя по этому поводу сказано вот что...

Я снял с полки книгу, открыл на знакомом месте и стал читать:

- *“Никто из людей в пространстве истории не умирал... Все живут, имея начало и конец жизни, как река имеет исток и устье, и течет, течет... Разница лишь в том или ином отдалении жизнетечений от нынешнего дня. Эти жизнетечения отслоились от тленного человеческого естества, они сами по себе и составляют в совокупности огромный, прямо-таки необозримый мир, границы которого теряются в тумане...”*

- Откуда это – спросил Комраков.

Я продолжал:

- *“Пространство истории наполнено движением, звоном и многоголосьем, дымом пожарниц, взблесками мечей и тугим ветром вселенских катастроф, запечатленными в крике страданием и торжеством, бессонными токами человеческой мысли и озарениями духа. Пространство истории живо; могучее дыхание его толкает ныне живущих в спины: вперед! да сбудется то, что сбудется!”*

Он взял из моих рук книгу, полистал:

- Ага, “Великий мост”. Читал я этот твой роман, читал... но, извини, старик, не помню наизусть. Как ты Монтеня. В твоём “Великом мосте” знаешь, что самое удачное? А вот история двоих влюбленных, которую ты извлёк из какой-то старинной книги. А остальное так... беллетристика.

- Напрасно ты, Комраков, употребляешь это слово, как ругательное, - возразил я ему. – “Беллетристика” означает “изящная словесность”. А что касается любовной истории, то она не извлечена из старинной книги, как ты утверждаешь, а сочинена мною.

- Не ври. Там старинный текст. Меня не проведёшь. Вот же...

Он стал читать:

- *“Была Иринеица велелена и велеозарна красотю лица своего, доброноса, чистома бровма и велеока. Отец обратился к ней с такой речью: “Чадо, доспела еси цветом полевым, реци мне, коего ти царя син годе есть, с тем тя повенчаю...”*. Тут речь не твоя, старик.

- Гена, ты доверчив и простодушен, как Опёнкин из повести “За картошкой”.

- Опёнкин, да, - Комраков отложил мою книгу и стал задумчив. – Между прочим, когда я умирал, он пришел постоять... у моего смертного одра.

Я не удержался, капнул ему яду:

- А пламенный революционер, о котором ты распинался? Как его Фамилия? То ли Емельянов, то ли Афанасьев...

- Этот не пришел, - хмуро сказал Комраков. – Да и Бог с ним! А вот почему другие не пришли...

Теперь и я молчал. Нет, этот упрёк был не ко мне – насчёт того, что не постоял у его смертного одра. Комраков думал о другом.

- Ну, а книги мои, небось, держишь в пыльной кладовке? – спросил он. – Или совсем выбросил?

- Они незабвенны, старик. Вон стоят на полке: одна называется “Слоновая кость”, другая – “Пункт “Васька””, третья – “Прощай, гармонь!”, и самая толстая – “Странные путешествия”. Прочие ты мне не присылал. Хочешь процитировать что-нибудь ради назидания мне?

Он встал, подошел к книжной полке, взял в руки одну свою книгу, другую... полистал молча. Я сказал ему, тяготясь нашим молчанием:

- Честно говоря, мне нравится только твоя “Картошка”. В ней эмоциональное напряжение выше, нежели в других твоих повестях. А для изящной словесности напряжение чувств все-таки определяющее качество.

Кажется, он не слушал меня, во всяком случае не отозвался. А мне хотелось завязать его в разговор.

- Ты говорил, что напишешь шесть повестей, именно шесть, ни больше и ни меньше, - напомнил я ему. – И одна из них будет называться примерно так: “Кино в руках Советской власти”. А написал только три. Ты не исполнил священного обета, старик.

- Не исполнил, - эхом отозвался он и подошел к моему письменному столу: - Что ты сочинишь? Та-ак, “Новая Корчева”, провинциальный роман. О чем это?

- Если я смогу сформулировать в нескольких фразах, о чем мой роман, к чему тогда и писать его? В том-то и дело, что невозможно. Вот закончу – прочитаешь.

Он бегло глянул на меня и стал перебирать стопку исписанной, а вернее исчерканной вдоль и поперек бумаги, лежавшей на углу стола.

- Зачем ты бережешь черновики? Для будущего музея, небось? – съехидничал он.

- Для сверки с чистовиком. Если надо восстановить выброшенное.

- Ясно... “Божество”, рассказ. Про любовь, наверно? “Дикий рынок”. Рассказ... “Русские снега”, повесть. Неплохое название, старик!

- Самое лучшее название для повести – “За картошкой”. Мне никогда не подняться на такую высоту.

- Ладно, я тебе отомщу... А это что? Ты пишешь стихи? Стыдись...

- Иногда. Для внутреннего употребления.

Комраков читал по исчерканному листочку:

*Может быть, этот дом - мой последний приют,
Потому его окна глядят на закат.
Иль проклятые думы меня здесь убьют,
Или грусть сокрушит, доконает тоска.*

Он поднял на меня глаза:

- Упаднические настроения?

- Это после твоих похорон, - признался я.

*Может быть, этот свет из закатных окон
Просияет к исходу последнего дня,
И во веки веков будет памятен он
В мире том, где Господь ожидает меня.*

Он отложил листочек, не дочитав стихотворение до конца:

- Не пиши больше стихов, старик. Особенно таких. Не буди дремлющего зверя. Это опасно для жизни, понимаешь?

Очень уж серьезно он это сказал и отошел к окну:

- А солнце, значит, сюда заходит? За лес на том берегу?

- Да. Такая уж у меня квартира. Каждый вечер живописнейшие закаты! Вот я сочинил на эту тему стихотворно.

*В коловращенье шар земной,
Весь этот мир летит куда-то.
И вот опять передо мной
Фантасмагория заката.*

Он вид у моего гостя был уже отрешенный. Ему было не до стихов, он засобирился уходить.

- Да побудь еще, Комраков! – попросил я. – Куда ты спешишь?

Но он направился в прихожую. И оттуда уже сказал:

- Хорошо посидели... Я даже не ожидал, что без водки можно так...

Он вышел на лестничную площадку, и когда остановился у лифта, я окликнул его:

- Комраков!

Он обернулся молча, посмотрел на меня вопросительно. Вид его был странен.

- Мы увидимся еще?

Он опустил голову и ничего не сказал в ответ.

- Мы увидимся, Комраков? – повторил я уже с мольбой в голосе. – Приходи, а?

Лифт раскрылся перед ним, и вступая в него, он сказал глуховато:

- Приду.

Самая лучшая музыка на свете – тишина. Тем более в лесу. Я равнодушен к морю, совсем не знаю степи и тем более пустыни – я лесной человек. Наверно, до нынешней своей жизни был просто деревом в лесу. Отстоял лет сто, потом упал, растворился во мхах. И возродился уже в человеческом облике.

Но прошлое разве забудется! Тепло от солнечных лучей, косо падающих в чащу, тяжесть птицы или снежной шапки на ветке, унылый скрип сухого дерева, запах хвои, моховой прели, смолы от новорожденных сосновых почек... все это очень живо отзывается во мне.

Я лесной человек и тоскую, если долго не вижу леса. Мне необходимо бывать в нем по крайней мере раз в неделю. Посидеть на пенушке, послушать треск костра, шум ветра в вершинах, нечаянный шорох падающей шишки.

Вокруг нашего городка – леса, и все мои. Один хорош для грибной охоты, другой – для ягодной, третий – для праздных прогулок с семьей или с гостями. А вот этот, дикий и неухоженный, - для уединения, для полного погружения в него, подобно стволу упавшего во мхи дерева.

Едва только по осени встанет Волга, по молодому тонкому ледку я перехожу широкий плес как раз напротив своего дома, по берегу знакомой тропкой пробираюсь в чащу на насиженное место: три могучие ели тут стоят, образуя равносторонний треугольник, они смыкают свои кроны, а вокруг мелкая древесная поросль – это мой лесной дом; в нем мир и покой.

Солнце, пробиваясь через отягощенные снегом лапы елей и сосен, высвечивает поляны, где снег лежит пышно, как в первый день мироздания; сверкающие блесточками солнечные пятна медленно перемещаются по поляне и исчезают.

Так было сегодня. А по пути сюда и здесь уже я вел молчаливый разговор... или размышление, словно урочную работу выполнял.

“- Комраков, где твоя родина? – спросил я среди этой “беседы”. – Я никогда не слышал от тебя рассказов о ней. Было ли у тебя детство? Или ты родился во взрослом состоянии?

- Вроде, было... Но что о нем толковать! Пустое дело.

- А я живу с глазами, обращенными назад. Не знаю, хорошо это или плохо.

- Какой смысл шагать задом наперед! Недаром же глаза у нас не на затылке.

- Там третье око, наше духовное зрение - возразил я.

- Сам же написал: вперед! и да сбудется то, что сбудется! Так и действуй.

Я ему в тон уже вслух тютчевское:

*- Не рассуждай, не хлопочи,
Безумство ищет, глупость судит.
Дневные раны сном лечи,
А завтра будет то, что будет ”.*

Так я беседовал с ним в воображении своем...

Прилетали махонькие, но чрезвычайно деятельные пичужки, сновавшие по стволам и веткам; их было много, они попискивали и на меня, сидящего у костра, посматривали с живым интересом. Мне казалось,

они узнали меня; во всяком случае в их писке я легко различал птичьи возгласы: “Посмотрите! Этот бездельник опять пришел сюда! Как и прошлой зимой”.

А я сидел неподвижно; костерик пылал передо мною. Он весел был, пока я с ним общался – подкладывал сухие веточки; и совсем замирал, когда я забывал о нём. Между мною и им было живое общение. Как и с теми, кто тут посещал меня.

Я размышлял о том, что со смертью Комракова жизнь моя потеряла одну из своих несущих опор. Дело в том, что я привык к мысли: если, мол, случатся со мной какая-нибудь серьезная незадача, помочь мне и выручить меня сможет только он, и больше никто. Ни родной брат, живущий далеко от меня; ни родной сын, ставший взрослым и тоже обитающий в отдалении; ни мать – она уже старушка; а вот именно Комраков. Эта мысль окрепла во мне давно и была основополагающей, именно как несущая опора моего земного существования.

Откуда была такая уверенность?

Я видел: он удачлив, он исключительно деятелен, он обходителен и потому любим всеми. Комраков захотел напечататься в лучшем из толстых журналов – в “Новом мире” – и напечатался. Он пожелал стать собкором центральной газеты – “Известий”! – и стал им. Он задумал издать книгу, вступить в Союз писателей, закончить Литературный институт, переехать на жительство в Москву и получить там большую квартиру в престижном районе – и добился всего этого. Он всемогущ, этот Комраков! Он с легкостью заводит друзей с высокими должностями; в его руках обыкновенный телефон становится чем-то, вроде скатерти-самобранки или “Сезам, откройся!”.

Он был в моем резерве, как свежий полк у полководца, и я мог предпринимать самое дерзкое начинание. А теперь резерва нет...

Я подбросил в костёр сухого хворосту и продолжал размышлять.

С удивлением, как нечаянное открытие, воспринял я свою мысль о том, что почти все мои воспоминания о Комракове – это воспоминания о наших совместных застольях. Иного, собственно, и не всплывало в памяти. Неужели больше ничего? Да почти ничего. Правда, пирушки эти были настолько самозначимы, что, право, другого и вспоминать не хотелось. Это было то поле деятельности, где Комраков проявлялся со своей самой талантливой стороны: лучшего застольного собеседника я не встречал никогда.

О, наши давние литинститутские пиршества! Комраков по праву был на них царь и бог.

Когда мы, подсчитав свои денежные накопления в виде рублей, трёшек и пятерок, выносили совместное решение “Гуляем!”, он звонил в какой-нибудь ресторан:

- Это Геннадий Комраков, собкор “Известий”.

И далее лениво-доверительно:

- Значит, так: нам нужен столик на четверых... не в центре зала..., понимаете? Поставьте сразу кое-что из закусок: ну, там помидорчики, огурчики, лучок зеленый, редисочку, травку... вы знаете, не мне вас учить. Рыбку ассорти, колбаску копченую, сыр обычный и этот самый... с зеленой плесенью... рокфор. У меня один из друзей – большой любитель тухленького да плесневелого... икорки красной и черной... Вода у вас какая? Боржом. По бутылке на каждого. Ну, и хватит пока. Мы придем, распорядимся насчет дальнейшего. Да! Водочку охладить не забудьте, и не наливайте в графин, так в бутылке и подадите, чтоб в рубашке была от росы... Коньяк – это потом. А пока водку. Мы сейчас придем.

Он невозмутимо клал трубку, говорил нам:

- Ну, все. Пошли, старички.

И мы шли сквозь московскую толпу: Комраков ледоколом впереди, мы – мелкие суда – за ним.

Перед рестораном толпа страждущих, на дверях табличка: “Мест нет”, за стеклом фигура в фуражке.

- Вы думаете, это швейцар? – говорил Комраков то ли в шутку, то ли всерьез. – Не-ет, это никак не ниже полковника кагэбэ. У них тут схвачено.

Наш лидер делал небрежный знак, дверь незамедлительно открывалась. Думаю, если б этот комраковский жест не был столь небрежен, нам не открыли бы.

- Заказано, - произносил Комраков, даже не взглянув на “полковника КГБ”.

– Они со мной, - покровительственно кивал он на нас.

Так бывало перед “Метрополем”, “Пекином”, “Москвой”, “Прагой”, “Софией”... Э-э, да, оказывается, мы были ресторанными гуляками! И в “Славянском базаре” были, и в “Баку”, и в “Русской кухне”, и, конечно, в Доме журналистов да в Доме литераторов – считалось, там лучшая кухня в Москве.

Мы входили в зал, метрдотель встречал нас и провожал к столику, уже сервированному; официант без промедления приносил запотелую бутылку водки.

- Как вас зовут? – спрашивал у него Комраков дружески.

И тот становился нашим доброжелательным исполнителем на весь этот вечер.

Теперь, сидя в одиночестве перед костром, я видел явственно просветленные, воодушевленные лица моих друзей – Комракова, Пушкина, Васильева, и свое тоже – лица, озарённые творческим вдохновением; именно творческим, потому что у нас шёл жаркий литературный разговор! Я слышал их голоса... и свой голос тоже.

Нет, мне не восстановить ни одного из наших словоговорений; в моей памяти лишь их общий смысл.

Едва справившись с холодными закусками, мы с ужасом узнавали, что Комраков заказал горячее и сейчас принесут “мясо по-суворовски” или “шашлык кавказский”, а потом перепелку или куропатку с клюквенным вареньем или просто индейку под соусом.

- Да ты что, Гена! – взмаливались мы. – Не съесть!

- Ничего, - говорил Комраков, утешая. – Посидим, отдохнём... потом управимся, под водочку.

И мы, действительно, управлялись... под водочку.

Любимый рассказ его: будто я однажды, при таком вот сидении, хорошо поев осетринки да икорки, откинулся на спинку стула и сказал:

- А хорошо быть писателем!

Комраков уверял, что именно эти слова я произнес, и был в его уверениях уличающий меня смысл. Я не возражал, но... не мог я такого сказать! Не мог. А если и сказал, то никак не связывал ресторанный еду с писательским делом.

Кстати будет упомянуть о том, что в кругу моих друзей меня не оставляло чувство своей творческой неполноценности: все симпатии Литературного института в то время были на стороне “Нового мира” с Твардовским, а консервативный “Октябрь” с Кочетовым осмеивался всячески, а кое-кем и презирался; я

же следующую свою повесть – “Хозяин” – разослал веером по журналам, словно удочки-донки раскинул, и “клюнуло” в “Октябре”. Соблазн напечататься был велик: две повести в толстых журналах – это уже бодрая заявка на книгу! А первая книга открывала сияющие перспективы будущей профессии.

- Важно не где печатаешься, а что пишешь, - оправдываясь, говорил я Комракову, Пушкину, Васильеву.

Они сочувственно улыбались, переглядывались, позволяли себе реплики: мол, на кого работаешь? Я отшучивался, но было обидно. Однако не отказываться же от публикации!

Моя повесть была о том, как трудолюбивый деревенский парень, вернувшись из армии, захотел стать хозяином. Захотел даже разбогатеть, а это уже было предосудительно с точки зрения господствующего государственного мнения. Повесть получилась с “кулацким” подтекстом, и я удивился, что ее приняли в “Октябре”. А удивившись, понял, насколько приблизительным было размежевание между журналами. Я заподозрил даже, что все дело в личных симпатиях и антипатиях ведущих писателей.

- Пойми, старик:: октябрь – слово неприличное, - говорили мне мои друзья. – Что-то вроде полового извращения.

Я обижался не за журнал – за себя. Никто из них не прочитал “Хозяина”, а уж осудить осудили.

Наше размежевание было обычным разномыслием, и не более. Я отыгрался с лихвой, когда Комраков заключил с издательством договор на книгу для серии “Пламенные революционеры”, избрав себе в герои ивановского ткача-большевика. Он объяснил это очень просто и без смущения: за “пламенных революционеров” хорошо платят, а ему, Комракову, деньги позарез нужны: в кооператив вступил – дачу в Красной Пахре строит.

Я же к тому времени написал повесть “Пастух”, предложил “Новому миру”, там её весьма похвально отрецензировал Виталий Сёмин, рекомендуя к публикации. Таким образом соперничество моё с Комраковым продолжалось и далее. Но это было потом, а пока что мы сидели в каком-нибудь ресторане, и главным было то, что вот мы сидим, мы молоды и полны надежд, мы вместе... И это суть. А остальное текуче, преходяще, остальное суета. Даже то, что казалось нам таким важным: противостояние журналов, литературных партий, идеологических течений.

- Старик, ты какие песни любишь? – спросил однажды Комраков.

- Старинные русские романсы, - отвечал я, еще ничего не подозревая.

- А из романсов который?

- Ну, например, “Гори, гори, моя звезда”, “Глядя на луч пурпурного заката”, “Растворил я окно”...

Нет, наша компания никогда не пела песен. Даже в общежитии. Я всегда жалел об этом, потому что считал: пение песен, равно как и чтение стихов, превращает любую пьянку в дело достойное и даже благородное. Хорошее пение и хорошее чтение, разумеется.

Комраков после вопроса о моих песенных пристрастиях, помнится, куда-то отлучился на минуту, и вдруг от ресторанного оркестра развратным голосом объявили:

- По просьбе нашего друга из Осташкова Юры Красавина исполняется романс “Гори, гори, моя звезда”!

И гнусно, надо сказала, исполнили! Тем довольней были мои друзья.

- Комраков, посмотри туда.

Это Олег Пушкин отвлекся от спора-разговора и желал отвлечь нас. Комраков чуть разворачивался

корпусом.

- А? Кто такие? Сейчас наведем справки... Где наш служащий? Я забыл, как его зовут.

Приходил официант.

- Слышь, а что за бабы вон там, длинные такие? – осведомлялся он заговорщицки.

- Насколько я понял, это баскетболистки... из союзной сборной.

- О! Бутылку шампанского на тот столик!

Минуту спустя, наш служащий скользил туда с подносом, на котором стояла бутылка шампанского. Я, как последний жмот, страдал от этих купеческих жестов: каждая трешка на счету, а Комраков позволяет себе... ведь и мне придется за это платить, и мне! Официант, чуть склоняясь, говорил что-то “баскетболисткам”, те разом оборачивались в нашу сторону, мы дружно поднимали бокалы, они благосклонно кивали. Это ободряло нашу компанию на дальнейшие подвиги.

- Счас идем танцевать, - распорядился Комраков. – Юра, ты у нас самый красивый, тебе самую длинную – действуй! Не перепутай, она спиной к нам...

- Бросьте вы, - уговаривал я в досаде. – Что за охота! Лучше посидим, поговорим.

Но моих друзей увлекала озорная сторона этого дела.

- Ты что, старик! – возражали они хором. – Ты ничего не понимаешь. Раз в жизни... потанцевать с чемпионкой по баскетболу... для писателя это необходимо, как воздух!

Наутро, проснувшись в комнате общежития, Комраков спрашивал глубокомысленно:

- Старички, а кто у нас вчера из-под носа увел баскетболисток?

- Штангисты какие-то, - сонно отвечал Пушкин Олег.

Но я помнил ясно, что мы с Васильевым, как самые галантные, провожали их до швейцара... А может, не их. Но чьи-то ручки целовали, звенели отсутствующими шпорами, покручивали несуществующими усы, скрипели воображаемыми португепями...

Скрип снега заставил меня оглянуться. Черная плюгавая собачка комнатной породы боязливо скакала впереди человека, направляющегося ко мне. Человек этот был сутул, медвежковат, в кожаной куртке и кепочке тоже кожаной.

- Комраков! – воскликнул я, тотчас вставая. – Это ты, Комраков? Привет!

Теперь я не испытывал страха – только радость.

- Вот ты где, - отозвался он буднично. – Подался в леса...

- Как ты меня нашел, Комраков?

- По следам... Смотрю, от твоего дома следочки твои пролегли как раз поперек реки.

- А почему тебя так долго не было? Я ждал, ждал... Неделя прошла, другая – ты как сквозь землю провалился.

Мое “сквозь землю” прозвучало двусмысленно, и я прикусил язык.

А он встал рядом, снял кепку, пригладил волосы – пар поднимался от его головы: все по-земному, все убедительно, неопровержимо и живо в нем. Собачка доверчиво жалась к его ногам, задирая голову и глядя на хозяина черными, выпученными глазами. Я вспомнил, что такая была у Комраковых лет пять назад, они спровадили ее в Ярославль к родне. Теперь-то откуда она взялась?

- Садись на эту доску, Комраков. А я для себя принесу другую, у меня тут припрятано.

Я пошел за доской, поставленной за стволом толстой ели, и оглядывался на него, боясь, как бы он не исчез.

- Откуда у тебя собака, Комраков?

- А кто ее знает! – глухо отозвался он. – Приблудилась.

Он и о той собаке, что уехала в Ярославль, так же говорил: “Приблудилась”. И был равнодушен к ней, а она его преданно любила.

Я вернулся, положил доску на вбитые тычки, объясняя:

- Я это сиденье для жены делаю, когда она приходит со мной. Видишь, у меня тут насиженное место, можно сказать, намоленное. Тут добрые духи живут. Я прихожу, говорю им: “Привет, ребята! Вот и я... Сейчас костер разведу, погреемся”. Вот и сидим.

- Стишки, небось, читаешь? – подсказал он.

- Не стишки, а стихи, Комраков. Откуда у тебя такое пренебрежение к ним? Оно, кстати сказать, было всегда, и в литинститутскую пору. А известно ли тебе, что сочинение стихов есть высшее проявление творческих сил в человеке? В акте стихотворства участвует и разум, и сердце, и душа – весь организм! На что способны только избранные, их должно чтить.

- Я чту, - сказал Комраков смиренно. – Кто тебе сказал, что я не люблю стихов? Люблю.

Он подкладывал в костер сухие сучки, они вспыхивали – опять на его лице шла борьба света и тени.

- Ну, почитай что-нибудь, Комраков. Из того, что ты помнишь и чтишь.

Он отозвался очень серьезно, думая о своем:

- Наизусть знаю только “*Вот моя деревня,/ Вот мой дом родной...*”. Да и то потому, что ты такую повесть написал.

- А помнишь, ты мне прислал в письме... да, да, в одном из твоих писем было стихотворение Пастернака, которое привело тебя в телячий восторг. Кстати сказать, это чушь и чепуховина на мой взгляд, хотя оно пользуется великим почетом в кругах якобы истинных ценителей поэзии.

Я был в возбужденном состоянии оттого, что вижу его, и хотел завязать с ним спор на самую достойную тему – о литературе. Мне любо все, что так или иначе касается ее.

- Посуди сам, Комраков: это же набор слов – “*Зал затих – я вышел на подмостки...*” Ну, пока понятно: человек вышел на подмостки, обратясь к зрительному залу. А дальше: “*Прислонясь к дверному косяку*”. Вышел, прислонясь... Ты улавливаешь смысл?

- Там точка стоит, - сказал он.

- Где?

- После подмостков точка. И будет так: “*Прислонясь к дверному косяку, я ловлю...*”

- Старик, откуда там взялся дверной косяк? О чем вообще речь? Соответствует ли это здравому смыслу? Ты послушай дальше: “*Я ловлю в далеком отголоске, / Что случится на моем веку*”. Отголоске чего? Песни? Крика? Слова? Чего отголосок-то? Мелкая философия на мелком месте, и не более. Пустые потуги на глубокомыслие!

- Как в рассказе у Шукшина, - заметил он и усмехнулся. – Там тоже один хмырь вот так размышлял насчет гоголевского Чичикова. Русь, говорит, тройка, а кто в тройке-то? Прохвост.

- Ты защищайся, Комраков! Это ж любимые твои стихи. Ты за них должен драться, как лев: мол, вот их преимущество, они очевидны. Ты же просто отстраняешься: это гениально, и не о чем спорить. А там дальше: “*На меня уставлен сумрак ночи / Тысячей биноклей на оси...*” Ты вдумывался когда-нибудь в эти строки, Комраков? Тысяча биноклей! Они на оси. О какой оси речь? О тележной? О земной?

- Суть стихов не в смысле, - кратко заметил он, - а в чувстве, которое они пробуждают.

- Прелестно! У меня они вызывают недоумение.

- Тебе, конечно, по силам что-нибудь попроще: Рубцов, например.

- Проще – это Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Есенин... и наш Коля Рубцов, да.

- Ну, Тютчева ты не знаешь, ты только Колю.

- Не серди меня, Комраков, не серди: в гневе я бываю страшен. Я с Федором Ивановичем с младенческих лет дружу. Могу прочитать тебе сейчас, не сходя с места, половину его сочинений наизусть. Тебя это, надеюсь, впечатляет?

- Ну, половины ты не читаешь, - возразил он.

- Давай так: сколько я тебе моего любимого Тютчева, столько ты мне всех, кого знаешь. Идет?

- Начинай, - поощрительно сказал он и пошевелил хвосток в костре.

Я прочел ему “Молчи, скрывайся и тай”, “Есть в осени первоначальной”, “Два голоса”. Он отмалчивался. Я прочел “Две силы есть, две роковые силы” и “О, как убийственно мы любим”, потом вот это:

*Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши прозрачные годы.
И перед ней мы смутно сознаем
Самих себя – лишь грезю природы.*

*Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.*

Комраков, слушая, посматривал на меня и одобрительно кивал. Последнее четверостишие он повторил как бы для себя.

- У Рубцова есть что-то похожее на Тютчева, - сказал он задумчиво. – В интонации, что ли...

Я заподозрил, что это сказано в осуждение Рубцову, и тотчас кинулся на его защиту:

- Да ведь наш однокашник Коля Рубцов не стоит, словно кол на юру, - он вплетается в классическую русскую поэзию. Он законнорождённый сын её! В нём кровь Тютчева, Некрасова, Есенина.

Комраков усмехнулся:

- О нём Генка Васильев хорошо сказал: болотный попик.

- Ну, это остроумие не составляет чести Гене Васильеву. Они все тогда, стихотворцы, не терпели Рубцова. Талант непереносим – это закономерно. Теперь же время прошло, и ясно кто есть кто. А Васильев прочитал рубцовское *“Меж болотных стволов затерялся восток огнеликий”* и съязвил. Я думаю, сегодня ему уже в досаду собственное остроумие.

- Хороший лес, - сказал Комраков, оглядываясь. – Давно я в таком не был.

О Рубцове – как вспомнится...

В нашем творческом семинаре был парень с Алтая, улыбчивый, незлобивый, писавший так же простодушно, как и улыбался – Петя Шмаков. Он из колхозных зоотехников подался в районные газетчики и намеревался с помощью Литературного института перейти в писатели.

Зная о моих финансовых затруднениях (двое маленьких детей, живем вчетвером на одну зарплату), Петя Шмаков печатал в своей районной газете мои рассказы, присылая исправно гонорар по трёшнице за каждый. А трёшница эти, надо сказать, так славно выручали, потому что как раз трёшницы-то и не хватало в последний день перед получкой.

И вот однажды Шмаков прислал мне очередной номер газетки с моим рассказом, а рядом на странице были помещены два стихотворения некоего Николая Рубцова: *“Меж болотных стволов затерялся восток огнеликий”* и *“Я уеду из этой деревни”*. Стихи меня покорили. Они заключали в себе то волшебство, которое присуще истинной поэзии и которого, увы, не было у многих и многих учившихся в Литинституте. Вроде, всё есть в иных стихах: и рифма, и ритм, и смысл, и даже мелодия, но живой души нет. Нету, и все тут! Яблоки, неотличимые друг от друга, но одни сняты с яблони и потому живые, а другие - просто муляжи.

Из письма Шмакова я узнал, что Николай Рубцов – студент с нашего курса. И вот, приехав на очередную сессию, я тотчас к Шмакову:

- Покажи мне Рубцова. Ты его знаешь?

- Да мы с ним в одной комнате живем! – сказал Петя, улыбаясь. – Заходи ко мне, я вас познакомлю.

Я в тот же день и пришел.

Рубцов появился вскоре и с первой минуты разочаровал меня: мелкого росточка, изрядно лысый, одет “по-колхозному” – в пиджаке с отвисшими карманами, и ко всему этому еще и в подпитии. Причем в неприятном таком подпитии, когда ясно, что пил человек не веселья ради и без всякого повода. Я вспомнил, что и раньше видел этого мужичка у нас в институте, между прочим, опять же в “поддатом” состоянии.

Шмаков нас познакомил

- Коля, это Юра Красавин, ему очень нравятся твои стихи.

Рубцов тотчас, без промедления попросил у меня три рубля. Расставаться с трёшницей мне никак не

хотелось, и я спросил, зачем она ему. Он сказал:

- Ты что, не мужик, что ли? Водки купим.

- Коля, - отвечал я, - если б на хлеб, дал бы. А на водку не дам.

- Ну и пошёл на..., - отозвался Рубцов.

Но послал этак беззлобно, как бы машинально. А не мог я дать ему денег на очередную выпивку! Он уже выпил...

Да, я бывал, случалось, в ресторанах, а Коля пировал, как говорится, в антисанитарных условиях, но это вовсе не потому, что я был денежнее его. Я был столь же беден. Думаю, он и я прогуливали (пропивали) одинаковые суммы, только разными способами. Не в упрек ему говорю (избави Бог!) и не в похвалу себе. Просто обстоятельства складывались по-разному и закуска у нас с ним разная.

Петя Шмаков помирил нас и попросил:

- Почитай стихи, Коля.

Рубцов не заставил себя долго уговаривать. Он не читал, он пел... Каждое стихотворение на свой мотив. Я услышал в тот раз и “В горнице моей светло”, и “Отцветет да поспеет на поле морошка”, и “В минуты музыки печальной”, и знакомое уже мне “Я уеду из этой деревни...”

Долго потом я был уверен, что именно в этот раз я впервые слушал стихи Рубцова в его собственном исполнении. Но вот недавно, перечитывая свой дневник тех времен, встретил такую запись:

“Спать легли за полночь. Под занавес явился какой-то пьяненький мужичок деревенского вида, попросил спички, а потом предложил послушать его стихи. “Свеженькие”. Мы запротестовали: надоело, не надо! Ходят тут все и читают... Но он настоял: “Всего шестнадцать строк...” Прочитал стихотворение под названием “Дуэль” – по-видимому, о поединке Лермонтова с Барантом. Эти стихи нас сразу подкупили. Мы выразили мужичку свое восхищение, особенно я, и он ушел, самолюбиво и растроганно бормоча:

- Да вот... пишем... Не члены Союза писателей!”

Это было на весенней сессии первого курса. А Шмаков познакомил нас позднее.

Нет, я не был потом дружен с Рубцовым и не состоял с ним даже в приятельских отношениях. Образ его жизни был несовместим с моим: всегда он крепко навеселе, помят, а то и оборван; всегда вокруг него крутилась пьяная компания. Иногда он заходил в нашу комнату, спрашивал, нет ли у нас чего-нибудь поесть; мы сочувственно отвечали: “Нету ничего, Коля!”. Он заглядывал под стол или в угол и там, за веником, находил засохший кусок хлеба; обдувал, обтирал о пиджак и хладнокровно принимался грызть. Стихов он нам не читал, просто уходил. Олег Пушкин с Комраковым усмехались согласно с Васильевым Генкой: чудак... болотный попик.

Однажды мы сдавали экзамены по языкознанию, а это самая муторная наука после марксистско-ленинской философии. Но если марксизм-ленинизм спрашивали в Литинституте не шибко строго, то языкознание как раз наоборот: женщина, принимавшая экзамен, была взыскательна и немилосердна. Оно и понятно: что может быть нужнее и важнее для писателя, чем знание языка! Потому “валились” на ее экзамене каждый второй.

Помню, Коля Рубцов сел перед нею, словно на эшафот взошел; следующим должен был идти я, потому все происходило на моих глазах. Он положил экзаменационный билет на стол и честно признался:

- Ничего не знаю.

Жестокая женщина смутилась и озадачилась.

- Как же так, Коля! – сказала она тихо. – Ну, хоть что-нибудь!

- Ни в зуб ногой, - сказал он.

- Но почему?!

Он скосоротился, как от зубной боли:

- Да ну... Суффиксы, префиксы...

Она посмотрела в окно, потом попросила:

- Ну, тогда почитай мне свои стихи.

Он прочел ей: *“Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...”*. Она слушала с прекрасным выражением на лице.

*Россия! Как грустно!
Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.*

Не думаю, что ему было поставлено в зачетку “отлично”, наверно – “удовлетворительно”. Он не мог постигнуть хитроумную науку языкознания, но владел волшебством слова. Этот дар был определен ему игрою человеческих судеб, прихотью природы или божественным соизволением. Эта загадка – почему он, а не кто-то другой? – интересовала меня всегда. За что именно ему или Есенину, Бунину, Пушкину, за какие заслуги этот дар? Я не находил ответа.

Помню Колю в потрепанном демисезонном пальтеце с поднятым воротником; в распахнутых полах – концы старенького шарфика, обмотанного вокруг шеи, в глазах вселенская печаль. Он неизменно грустен был и печален, понур и как бы в чем-то перед кем-то виноват.

Я всегда отмечал его глазами в толпе – у института ли, возле общежития ли: вот тот низенький, плохо выбритый, с жидкими волосами, зачесанными на лысину, - это Коля Рубцов, написавший *“Звезда полей во мгле заледенелой. / Остановившись, смотрит в полянью...”*, и *“Взбегу на холм и упаду в траву. / И древностью повеет вдруг из дола...”*, и *“”В этой деревне огни не погашены, / Ты мне тоску не пророчь...”*, и *“Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи...”*, и *“Там в избе деревянной, / Без претензий и льгот, / Так, без газа и ванной / Добрый Филя живёт...”*.

На групповой фотографии весной 1969 года Коля Рубцов трезв, улыбается, на нём пиджачок с отвисшими карманами, штаны на коленях пузыряются, ботинки не чищены, стоптаны...

Наверно, в тот день я видел его в последний раз.

- А почему мы с тобой часто ссорились, старик? – спросил меня Комраков. – Однажды до того, что не виделись пять лет.

- Я слишком многое тебе прощал. Ты иногда распоясывался. Однажды приступал ко мне с ножом.

- Это я хотел обрезать твой галстук. Он мне очень не нравился.

- Нет, ты хотел нанести мне смертельное оскорбление. Ведь поглумиться хотел!

- Пьяный был, - покаянно сказал Комраков. – Прости, старик. Не вели казнить.

- И на письма мои отвечал редко: я тебе три-четыре, а ты мне одно. Это не по-товарищески.

- А не люблю я эпистолярного жанра!

- Тогда какого черта ты полез в литературу! Занимался бы разведением кроликов. Так нет, вишь, в писатели... а взялся за дело, так делай! Сам процесс писания должен вызывать у тебя приятное ощущение, сравнимое с тем, что испытываешь, обнимая любимую женщину.

- Вот-вот... Ту все время меня укорял: мол, слишком я приземлён, привержен к материальному в ущерб духовному – это и раздражало. Ни с Олегом Пушкиным, ни с Генкой Васильевым у меня никаких размолвок не было, а с тобой...

- Так они же ребята ужасно положительные! А я, увы, с некоторыми недостатками. Но имей в виду: никто тебя не любил так беззаветно, как я. Моя любовь к тебе – это вот то, что имел в виду Тарас Бульба: для меня нет уз святее товарищества.

- Ты слишком обидчив, старик: самолюбив, капризен, изнежен. Тебе трудно жить на свете. У тебя комплекс не востребоваемости, понимаешь?

- Да сам ты гусь лапчатый! На том и остановимся.

- Нет, надо договорить, раз уж начали. Ты ведь Колю Рубцова не зря нынче вспомнил. Признайся, не зря ты мне его в укор ставишь. Разве не так?

Он говорил неторопливо, изредка взглядывал на меня.

- Мол, после Рубцова остались стихи, его песни вся Россия поет, и памятник ему уже соорудили где-то на Вологодчине. А, дескать, после тебя, Комраков, почти ничего. Это ход твоих мыслей, старик, я вижу тебя насквозь.

Я молчал.

- После тебя, мол, Комраков, вехами твоей судьбы – квартира на Селезневке, дача в Красной Пахре, гарнитур мебельный да шмотки кожаные... тогда как должны были остаться шесть повестей... ишь, вспомнил!

“Давай-давай, - подумал я, - Выговаривайся”.

А вслух сказал:

- Заметь: все это ты говоришь, а не я.

- Дипломат... Да, не написал я еще три повести, так что из того? Мало ли их пишут!

Тут он замолчал. Белка поцокала над нами, устроила небольшой снежный обвал. Нам было не до нее. Мы молчали довольно долго.

- Ты и вправду считаешь, что я ошибся? – тихо спросил Комраков. – Что не то делал и не так? Ведь ты именно так считаешь!

- Я не сужу тебя, Гена, - сказал я виновато. – Но мне, признаюсь, досадно: ты мог бы сделать больше и не сделал. Ты мог бы написать то, чего другие не знают и не смогут. А теперь что же... игра сыграна,

свечи потушены...

- Ладно... Ты и раньше нажимал на меня: мол, я отступил от святого дела... предал женщину по имени Литература.

Мне не хотелось оправдываться, отрицать. Если он это помнит, значит, я говорил.

Костер у нас совсем потух. Собачка пропала куда-то. И разговор уже еле теплился.

- Ну, что ж, - сказал Комраков, вставая. – Чего теперь уж. Ты прав: что было, то было... а чего не было, тому не бывать.

Он надел кепку и повернулся уходить.

- Погоди, - сказал я. – Посиди еще.

Мне хотелось что-то сказать ему, но слов я не находил.

Он уже удалялся между заснеженными елочками. Я окликнул:

- Комраков!

Он лишь чуть-чуть развернулся корпусом, но не остановился.

- Мы еще увидимся, Комраков?

Он не ответил. Снег мягко похрупывал у него под ногами, и скоро все стихло.

В третий раз он пришел ко мне во сне. Пришел, сел возле моего дивана, на котором я сплю:

- Привет, старик!

Буднично так сказал, спокойно. И сразу же тоном упрёка:

- Ты почему мне не пишешь?

Опять... словно я обещал, но не исполнил обещанного.

- Куда писать, Гена! Я не знаю твоего нынешнего адреса!

Я во сне понимал, что он умер, и в то же время сознавал, что его появление у меня естественно и правомерно.

- Как это не знаешь! – ворчливо произнес он. – Раз писатель, значит, должен быть осведомлен... о всех тайнах бытия, тут и там. В этом суть и смысл твоей профессии, старик.

Я ничего не мог возразить ему. Действительно, должен быть осведомлен, но... не сподобился. Я чувствовал себя виноватым.

- Ты двигай мозгами, старик, двигай. Если не ты, то кто?

А я не мог понять, чего он хочет от меня: каких писем? И куда? И о чём?

- Ты должен написать, старик, - убеждающе говорил он.

- Не мучай меня, Комраков! – попросил я. – Не требуй того, что выше моих сил. Я делаю, что умею, и

не более того.

Он разочарованно покачал головой и встал, и отдалился от меня, отстранился.

- Ты ещё придёшь, Комраков? – спросил я его, привстав на постели.

- Нет, - сказал он уже через пространство.

И повторил обречённо:

- Нет.

Я горестно осознал, что больше не услышу от него “Привет, старик!” – это переживание от утраты было так сильно, что я проснулся с ощущением глубокой вины своей... перед ним? или перед... кем?
